**ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ И ВОЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ**

   -- Пустите меня, я хочу сама править! Я сяду рядом с ямщиком! -- говорила громко Софья Львовна. -- Ямщик, погоди, я сяду с тобой на козлы.

   Она стояла в санях, а ее муж Владимир Никитыч и друг детства Владимир Михайлыч держали ее за руки, чтобы она не упала. Тройка неслась быстро.

   -- Я говорил, не следовало давать ей коньяку, -- шепнул с досадой Владимир Никитич своему спутнику. -- Экий ты, право!

   Полковник знал по опыту, что у таких женщин, как его жена Софья Львовна, вслед за бурною, немножко пьяною веселостью обыкновенно наступает истерический смех и потом плач. Он боялся, что теперь, когда они приедут домой, ему, вместо того чтобы спать, придется возиться с компрессами и каплями.

   -- Тпрр! -- кричала Софья Львовна. -- Я хочу править!

   Она была искренно весела и торжествовала. В последние два месяца, с самого дня свадьбы, ее томила мысль, что она вышла за полковника Ягича по расчету и, как говорится, par depit {с досады (франц.).}; сегодня же в загородном ресторане она убедилась наконец, что любит его страстно. Несмотря на свои пятьдесят четыре года, он был так строен, ловок, гибок, так мило каламбурил и подпевал цыганкам. Право, теперь старики в тысячу раз интереснее молодых, и похоже на то, как будто старость и молодость поменялись своими ролями. Полковник старше ее отца на два года, но может ли это обстоятельство иметь какое-нибудь значение, если, говоря по совести, жизненной силы, бодрости и свежести в нем неизмеримо больше, чем в ней самой, хотя ей только двадцать три года?

   "О, мой милый! -- думала она. -- Чудный!"

   В ресторане она также убедилась, что от прежнего чувства в ее душе не осталось даже искры. К другу детства Владимиру Михайлычу, или, попросту, Володе, которого она еще вчера любила до сумасбродства, до отчаяния, теперь она чувствовала себя совершенно равнодушной. Сегодня весь вечер он казался ей вялым, сонным, неинтересным, ничтожным, и его хладнокровие, с каким он обыкновенно уклоняется от платежа по ресторанным счетам, на этот раз возмутило ее, и она едва удержалась, чтобы не сказать ему: "Если вы бедный, то сидите дома". Платил один только полковник.

   Оттого, быть может, что в глазах у нее мелькали деревья, телеграфные столбы и сугробы, самые разнообразные мысли приходили ей в голову. Она думала: по счету в ресторане уплачено сто двадцать и цыганам -- сто, и завтра она, если захочет, может бросить на ветер хоть тысячу рублей, а два месяца назад, до свадьбы, у нее не было и трех рублей собственных, и за каждым пустяком приходилось обращаться к отцу. Какая перемена в жизни!

   Мысли у нее путались, и она вспоминала, как полковник Ягич, ее теперешний муж, когда ей было лет десять, ухаживал за тетей, и все в доме говорили, что он погубил ее, и в самом деле тетя часто выходила к обеду с заплаканными глазами и все куда-то уезжала, и говорили про нее, что она, бедняжка, не находит себе места. Он был тогда очень красив и имел необычайный успех у женщин, так что его знал весь город, и рассказывали про него, будто он каждый день ездил с визитами к своим поклонницам, как доктор к больным. И теперь, даже несмотря на седину, морщины и очки, иногда его худощавое лицо, особенно в профиль, кажется прекрасным.

   Отец Софьи Львовны был военным доктором и служил когда-то в одном полку с Ягичем. Отец Володи тоже был военным доктором и тоже служил когда-то в одном полку с ее отцом и с Ягичем. Несмотря на любовные приключения, часто очень сложные и беспокойные, Володя учился прекрасно; он кончил курс в университете с большим успехом и теперь избрал своею специальностью иностранную литературу и, как говорят, пишет диссертацию. Живет он в казармах, у своего отца, военного доктора, и не имеет собственных денег, хотя ему уже тридцать лет. В детство Софья Львовна и он жили в разных квартирах, но под одною крышей, и он часто приходил к ней играть, и их вместе учили танцевать и говорить по-французски; но когда он вырос и сделался стройным, очень красивым юношей, она стала стыдиться его, потом полюбила безумно и любила до последнего времени, пока не вышла за Ягича. Он тоже имел необыкновенный успех у женщин, чуть ли не с четырнадцати лет, и дамы, которые для него изменяли своим мужьям, оправдывались тем, что Володя маленький. Про него недавно кто-то рассказывал, будто бы он, когда был студентом, жил в номерах, поближе к университету, и всякий раз, бывало, как постучишься к нему, то слышались за дверью его шаги и затем извинение вполголоса: "Pardon, je ne suis pas seul" {"Простите, я не один" (франц.).}. Ягич приходил от него в восторг и благословлял его на дальнейшее, как Державин Пушкина, и, по-видимому, любил его. Оба они по целым часам молча играли на бильярде или в пикет, и если Ягич ехал куда-нибудь на тройке, то брал с собою и Володю, и в тайны своей диссертации Володя посвящал только одного Ягича. В первое время, когда полковник был помоложе, они часто попадали в положение соперников, но никогда не ревновали друг к другу. В обществе, где они бывали вместе, Ягича прозвали Володей большим, а его друга -- Володей маленьким.

   В санях, кроме Володи большого, Володи маленького и Софьи Львовны, находилась еще одна особа -- Маргарита Александровна, или, как ее все звали, Рита, кузина госпожи Ягич, девушка уже за тридцать, очень бледная, с черными бровями, в pince-nez, курившая папиросы без передышки, даже на сильном морозе; всегда у нее на груди и на коленях был пепел. Она говорила в нос, растягивая каждое слово, была холодна, могла пить ликеры и коньяк, сколько угодно, и не пьянела, и двусмысленные анекдоты рассказывала вяло, безвкусно. Дома она от утра до вечера читала толстые журналы, обсыпая их пеплом, или кушала мороженые яблоки.

   -- Соня, перестань беситься, -- сказала она нараспев. -- Право, глупо даже.

   В виду заставы тройка понеслась тише, замелькали дома и люди, и Софья Львовна присмирела, прижалась к мужу и вся отдалась своим мыслям. Володя маленький сидел против. Теперь уже к веселым, легким мыслям стали примешиваться и мрачные. Она думала: этому человеку, который сидит против, было известно, что она его любила, и он, конечно, верил разговорам, что она вышла за полковника par depit. Она еще ни разу не признавалась ему в любви и не хотела, чтобы он знал, и скрывала свое чувство, но по лицу его видно было, что он превосходно понимал ее -- и самолюбие ее страдало. Но в ее положении унизительнее всего было то, что после свадьбы этот Володя маленький вдруг стал обращать на нее внимание, чего раньше никогда не бывало, просиживал с ней по целым часам молча или болтая о пустяках, и теперь в санях, не разговаривая с нею, он слегка наступал ей на ногу и пожимал руку; очевидно, ему того только и нужно было, чтобы она вышла замуж; и очевидно было, что он презирает ее и что она возбуждает в нем интерес лишь известного свойства, как дурная и непорядочная женщина. И когда в ее душе торжество и любовь к мужу мешались с чувством унижения и оскорбленной гордости, то ею овладевал задор и хотелось тогда сесть на козлы и кричать, подсвистывать...

   Как раз в то самое время, когда проезжали мимо женского монастыря, раздался удар большого тысячепудового колокола. Рита перекрестилась.

   -- В этом монастыре наша Оля, -- сказала Софья Львовна и тоже перекрестилась и вздрогнула.

   -- Зачем она пошла в монастырь? -- спросил полковник.

   -- Par depit, -- сердито ответила Рита, очевидно намекая на брак Софьи Львовны с Ягичем. -- Теперь в моде это par depit. Вызов всему свету. Была хохотушка, отчаянная кокетка, любила только балы да кавалеров и вдруг -- на, поди! Удивила!

   -- Это неправда, -- сказал Володя маленький, опуская воротник шубы и показывая свое красивое лицо. -- Тут не par depit, а сплошной ужас, если хотите. Ее брата, Дмитрия, сослали в каторжные работы, и теперь неизвестно, где он. А мать умерла с горя.

   Он опять поднял воротник.

   -- И хорошо сделала Оля, -- добавил он глухо. -- Жить на положении воспитанницы, да еще с таким золотом, как Софья Львовна, -- тоже подумать надо!

   Софья Львовна услышала в его голосе презрительный тон и хотела сказать ему дерзость, но промолчала. Ею опять овладел тот же задор; она поднялась на ноги и крикнула плачущим голосом:

   -- Я хочу к утрене! Ямщик, назад! Я хочу Олю видеть!

   Повернули назад. Звон монастырского колокола был густой, и, как казалось Софье Львовне, что-то в нем напоминало об Оле и ее жизни. Зазвонили и в других церквах. Когда ямщик осадил тройку, Софья Львовна выскочила из саней и одна, без провожатого, быстро пошла к воротам.

   -- Скорей, пожалуйста! -- крикнул ей муж. -- Уже поздно!

   Она прошла темными воротами, потом по аллее, которая вела от ворот к главной церкви, и снежок хрустел у нее под ногами, и звон раздавался уже над самою головой и, казалось, проникал во все ее существо. Вот церковная дверь, три ступеньки вниз, затем притвор с изображениями святых по обе стороны, запахло можжевельником и ладаном, опять дверь, и темная фигурка отворяет ее и кланяется низко-низко... В церкви служба еще не начиналась. Одна монашенка ходила около иконостаса и зажигала свечи на ставниках, другая зажигала паникадило. Там и сям, ближе к колоннам и боковым приделам, стояли неподвижно черные фигуры. "Значит, как они стоят теперь, так уж не сойдут до самого утра", -- подумала Софья Львовна, и ей показалось тут темно, холодно, скучно, -- скучнее, чем на кладбище. Она с чувством скуки поглядела на неподвижные, застывшие фигуры, и вдруг сердце у нее сжалось. Почему-то в одной из монашенок, небольшого роста, с худенькими плечами и с черною косынкой на голове она узнала Олю, хотя Оля, когда уходила в монастырь, была полная и как будто повыше. Нерешительно, сильно волнуясь отчего-то, Софья Львовна подошла к послушнице и через плечо поглядела ей в лицо, и узнала Олю.

   -- Оля! -- сказала она и всплеснула руками, и уж не могла говорить от волнения. -- Оля!

   Монашенка тотчас же узнала ее, удивленно подняла брови, и ее бледное, недавно умытое, чистое лицо и даже, как показалось, ее белый платочек, который виден был из-под косынки, просияли от радости.

   -- Вот господь чудо послал, -- сказала она и тоже всплеснула своими худыми, бледными ручками.

   Софья Львовна крепко обняла ее и поцеловала, и боялась при этом, чтобы от нее не пахло вином.

   -- А мы сейчас ехали мимо и вспомнили про тебя, -- говорила она, запыхавшись, как от быстрой ходьбы. -- Какая ты бледная, господи! Я... я очень рада тебя видеть. Ну, что? Как? Скучаешь?

   Софья Львовна оглянулась на других монахинь и продолжала уже тихим голосом:

   -- У нас столько перемен... Ты знаешь, я замуж вышла за Ягича, Владимира Никитича. Ты его помнишь, наверное... Я очень счастлива с ним.

   -- Ну, слава богу. А папа твой здоров?

   -- Здоров. Часто про тебя вспоминает. Ты же, Оля, приходи к нам на праздниках. Слышишь?

   -- Приду, -- сказала Оля и усмехнулась. -- Я на второй день приду.

   Софья Львовна, сама не зная отчего, заплакала и минутку плакала молча, потом вытерла глаза и сказала:

   -- Рита будет очень жалеть, что тебя не видела. Она тоже с нами. И Володя тут. Они около ворот. Как бы они были рады, если бы ты повидалась с ними! Пойдем к ним, ведь служба еще не начиналась.

   -- Пойдем, -- согласилась Оля.

   Она перекрестилась три раза и вместе с Софьей Львовной пошла к выходу.

   -- Так ты говоришь, Сонечка, счастлива? -- спросила она, когда вышли за ворота.

   -- Очень.

   -- Ну, слава богу.

   Володя большой и Володя маленький, увидев монашенку, вышли из саней и почтительно поздоровались; оба были заметно тронуты, что у нее бледное лицо и черное монашеское платье, и обоим было приятно, что она вспомнила про них и пришла поздороваться. Чтобы ей не было холодно, Софья Львовна окутала ее в плед и прикрыла одною полой своей шубы. Недавние слезы облегчили и прояснили ей душу, и она была рада, что эта шумная, беспокойная и в сущности нечистая ночь неожиданно кончилась так чисто и кротко. И чтобы удержать подольше около себя Олю, она предложила:

   -- Давайте ее прокатим! Оля, садись, мы немножко.

   Мужчины ожидали, что монашенка откажется, -- святые на тройках не ездят, -- но к их удивлению она согласилась и села в сани. И когда тройка помчалась к заставе, все молчали и только старались, чтобы ей было удобно и тепло, и каждый думал о том, какая она была прежде и какая теперь. Лицо у нее теперь было бесстрастное, мало выразительное, холодное и бледное, прозрачное, будто в жилах ее текла вода, а не кровь. А года два-три назад она была полной, румяной, говорила о женихах, хохотала от малейшего пустяка...

   Около заставы тройка повернула назад; когда она минут через десять остановилась около монастыря, Оля вышла из саней. На колокольне уже перезванивали.

   -- Спаси вас господи, -- сказала Оля и низко, по-монашески поклонилась.

   -- Так ты же приходи, Оля.

   -- Приду, приду.

   Она быстро пошла и скоро исчезла в темных воротах. И после этого почему-то, когда тройка поехала дальше, стало грустно-грустно. Все молчали. Софья Львовна почувствовала во всем теле слабость и пала духом; то, что она заставила монашенку сесть в сани и прокатиться на тройке, в нетрезвой компании, казалось ей уже глупым, бестактным и похожим на кощунство; вместе с хмелем у нее прошло и желание обманывать себя, и для нее уже ясно было, что мужа своего она не любит и любить не может, что все вздор и глупость. Она вышла из расчета, потому что он, по выражению ее институтских подруг, безумно богат и потому что ей страшно было оставаться в старых девах, как Рита, и потому, что надоел отец-доктор и хотелось досадить Володе маленькому. Если бы она могла предположить, когда выходила, что это так тяжело, жутко и безобразно, то она ни за какие блага в свете не согласилась бы венчаться. Но теперь беды не поправишь. Надо мириться.

   Приехали домой. Ложась в теплую мягкую постель и укрываясь одеялом, Софья Львовна вспомнила темный притвор, запах ладана и фигуры у колонн, и ей было жутко от мысли, что эти фигуры будут стоять неподвижно все время, пока она будет спать. Утреня будет длинная-длинная, потом часы, потом обедня, молебен...

   "Но ведь бог есть, наверное есть, и я непременно должна умереть, значит, надо рано или поздно подумать о душе, о вечной жизни, как Оля. Оля теперь спасена, она решила для себя все вопросы... Но если бога нет? Тогда пропала ее жизнь. То есть как пропала? Почему пропала?"

   А через минуту в голову опять лезет мысль:

   "Бог есть, смерть непременно придет, надо о душе подумать. Если Оля сию минуту увидит свою смерть, то ей не будет страшно. Она готова. А главное, она уже решила для себя вопрос жизни. Бог есть... да... Но неужели нет другого выхода, как только идти в монастырь? Ведь идти в монастырь -- значит отречься от жизни, погубить ее..."

   Софье Львовне становилось немножко страшно; она спрятала голову под подушку.

   -- Не надо об этом думать, -- шептала она. -- Не надо...

   Ягич ходил в соседней комнате по ковру, мягко звеня шпорами, и о чем-то думал. Софье Львовне пришла мысль, что этот человек близок и дорог ей только в одном: его тоже зовут Владимиром. Она села на постель и позвала нежно:

   -- Володя!

   -- Что тебе? -- отозвался муж.

   -- Ничего.

   Она опять легла. Послышался звон, быть может, тот же самый монастырский, припомнились ей опять притвор и темные фигуры, забродили в голове мысли о боге и неизбежной смерти, и она укрылась с головой, чтобы не слышать звона; она сообразила, что прежде чем наступят старость и смерть, будет еще тянуться длинная-длинная жизнь, и изо дня в день придется считаться с близостью нелюбимого человека, который вот пришел уже в спальню и ложится спать, и придется душить в себе безнадежную любовь к другому -- молодому, обаятельному и, как казалось ей, необыкновенному. Она взглянула на мужа и хотела пожелать ему доброй ночи, но вместо этого вдруг заплакала. Ей было досадно на себя.

   -- Ну, начинается музыка! -- проговорил Ягич, делая ударение на зы.

   Она успокоилась, но поздно, только к десятому часу утра; она перестала плакать и дрожать всем телом, но зато у ней начиналась сильная головная боль. Ягич торопился к поздней обедне и в соседней комнате ворчал на денщика, который помогал ему одеваться. Он вошел в спальню раз, мягко звеня шпорами, и взял что-то, потом в другой раз -- уже в эполетах и орденах, чуть-чуть прихрамывая от ревматизма, и Софье Львовне показалось почему-то, что он ходит и смотрит как хищник.

   Она слышала, как Ягич позвонил у телефона.

   -- Будьте добры, соедините с Васильевскими казармами! -- сказал он; а через минуту: -- Васильевские казармы? Пригласите, пожалуйста, к телефону доктора Салимовича... -- И еще через минуту: -- С кем говорю? Ты, Володя? Очень рад. Попроси, милый, отца приехать сейчас к нам, а то моя супруга сильно расклеилась после вчерашнего. Нет дома, говоришь? Гм... Благодарю. Прекрасно... премного обяжешь... Merci.

   Ягич в третий раз вошел в спальню, нагнулся к жене, перекрестил ее, дал ей поцеловать свою руку (женщины, которые его любили, целовали ему руку, и он привык к этому) и сказал, что вернется к обеду. И вышел.

   В двенадцатом часу горничная доложила, что пришли Владимир Михайлыч. Софья Львовна, пошатываясь от усталости и головной боли, быстро надела свой новый удивительный капот сиреневого цвета, с меховою обшивкой, наскоро кое-как причесалась; она чувствовала в своей душе невыразимую нежность и дрожала от радости и страха, что он может уйти. Ей бы только взглянуть на него.

   Володя маленький пришел с визитом, как следует, во фраке и в белом галстуке. Когда в гостиную вошла Софья Львовна, он поцеловал у нее руку и искренно пожалел, что она нездорова. Потом, когда сели, похвалил ее капот.

   -- А меня расстроило вчерашнее свидание с Олей, -- сказала она. -- Сначала мне было жутко, но теперь я ей завидую. Она -- несокрушимая скала, ее с места не сдвинешь; но неужели, Володя, у нее не было другого выхода? Неужели погребать себя заживо значит решать вопрос жизни? Ведь это смерть, а не жизнь.

   При воспоминании об Оле на лице у Володи маленького показалось умиление.

   -- Вот вы, Володя, умный человек, -- сказала Софья Львовна, -- научите меня, чтобы я поступила точно так же, как она. Конечно, я неверующая и в монастырь не пошла бы, но ведь можно сделать что-нибудь равносильное. Мне не легко живется, -- продолжала она, помолчав немного. -- Научите же... Скажите мне что-нибудь убедительное. Хоть одно слово скажите.

   -- Одно слово? Извольте: тарарабумбия.

   -- Володя, за что вы меня презираете? -- спросила она живо. -- Вы говорите со мной каким-то особенным, простите, фатовским языком, как не говорят с друзьями и с порядочными женщинами. Вы имеете успех как ученый, вы любите науку, но отчего вы никогда не говорите со мной о науке? Отчего? Я недостойна?

   Володя маленький досадливо поморщился и сказал:

   -- Отчего это вам так вдруг науки захотелось? А, может, хотите конституции? Или, может, севрюжины с хреном?

   -- Ну, хорошо, я ничтожная, дрянная, беспринципная, недалекая женщина... У меня тьма, тьма ошибок, я психопатка, испорченная, и меня за это презирать надо. Но ведь вы, Володя, старше меня на десять лет, а муж старше меня на тридцать лет. Я росла на ваших глазах, и если бы вы захотели, то могли бы сделать из меня всё, что вам угодно, хоть ангела. Но вы... (голос у нее дрогнул) поступаете со мной ужасно. Ягич женился на мне, когда уже постарел, а вы...

   -- Ну, полно, полно, -- сказал Володя, садясь поближе и целуя ей обе руки. -- Предоставим Шопенгауэрам философствовать и доказывать всё, что им угодно, а сами будем целовать эти ручки.

   -- Вы меня презираете и если б вы знали, как я страдаю от этого! -- сказала она нерешительно, заранее зная, что он ей не поверит. -- А если б вы знали, как мне хочется измениться, начать новую жизнь! Я с восторгом думаю об этом, -- проговорила она и в самом деле прослезилась от восторга. -- Быть хорошим, честным, чистым человеком, не лгать, иметь цель в жизни.

   -- Ну, ну, ну, пожалуйста, не ломайтесь! Не люблю! -- сказал Володя, и лицо его приняло капризное выражение. -- Ей-богу, точно на сцене. Будем держать себя по-человечески.

   Чтобы он не рассердился и не ушел, она стала оправдываться и в угоду ему насильно улыбнулась, и опять заговорила об Оле, и про то, как ей хочется решить вопрос своей жизни, стать человеком.

   -- Тара... ра... бумбия... -- запел он вполголоса. -- Тара... ра... бумбия!

   И неожиданно взял ее за талию. А она, сама не зная, что делает, положила ему на плечи руки и минуту с восхищением, точно в чаду каком-то, смотрела на его умное, насмешливое лицо, лоб, глаза, прекрасную бороду...

   -- Ты сам давно знаешь, я люблю тебя, -- созналась она ему и мучительно покраснела, и почувствовала, что у нее даже губы судорожно покривились от стыда. -- Я тебя люблю. Зачем же ты меня мучаешь?

   Она закрыла глаза и крепко поцеловала его в губы, и долго, пожалуй, с минуту, никак не могла кончить этого поцелуя, хотя знала, что это неприлично, что он сам может осудить ее, может войти прислуга...

   -- О, как ты меня мучаешь! -- повторила она.

   Когда через полчаса он, получивший то, что ему нужно было, сидел в столовой и закусывал, она стояла перед ним на коленях и с жадностью смотрела ему в лицо, и он говорил ей, что она похожа на собачку, которая ждет, чтоб ей бросили кусочек ветчины. Потом он посадил ее к себе на одно колено и, качая как ребенка, запел:

   -- Тара... рабумбия... Тара... рабумбия!

   А когда он собрался уходить, она спрашивала его страстным голосом:

   -- Когда? Сегодня? Где?

   И она протянула к его рту обе руки, как бы желая схватить ответ даже руками.

   -- Сегодня едва ли это удобно, -- сказал он, подумав. -- Вот разве завтра.

   И они расстались. Перед обедом Софья Львовна поехала в монастырь к Оле, но там сказали ей, что Оля где-то по покойнике читает псалтирь. Из монастыря она поехала к отцу и тоже не застала дома, потом переменила извозчика и стала ездить по улицам и переулкам без всякой цели, и каталась так до вечера. И почему-то при этом вспоминалась ей та самая тетя с заплаканными глазами, которая не находила себе места.

   А ночью опять катались на тройках и слушали цыган в загородном ресторане. И когда опять проезжали мимо монастыря, Софья Львовна вспоминала про Олю, и ей становилось жутко от мысли, что для девушек и женщин ее круга нет другого выхода, как не переставая кататься на тройках и лгать или же идти в монастырь, убивать плоть... А на другой день было свидание, и опять Софья Львовна ездила по городу одна на извозчике и вспоминала про тетю.

   Через неделю Володя маленький бросил ее. И после этого жизнь пошла по-прежнему, такая же неинтересная, тоскливая и иногда даже мучительная. Полковник и Володя маленький играли подолгу на бильярде и в пикет, Рита безвкусно и вяло рассказывала анекдоты, Софья Львовна все ездила на извозчике и просила мужа, чтобы он покатал ее на тройке.

   Заезжая почти каждый день в монастырь, она надоедала Оле, жаловалась ей на свои невыносимые страдания, плакала и при этом чувствовала, что в келью вместе с нею входило что-то нечистое, жалкое, поношенное, а Оля машинально, тоном заученного урока говорила ей, что всё это ничего, всё пройдет и бог простит.